

УДК 115.4+821.161.1

**ПРОБЛЕМА САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ А.Н. ТОЛСТОГО**

**Щелокова Л.И.**

В статье анализируется публицистика А.Н. Толстого в аспекте исповедальной поэтики. Используются понятия «сакральный хронотоп», «сакральный топос», исповедальные мотивы. Пространственно-временные соотношения в публицистике Толстого тесно связаны с уровнями: Космос – Земля – Ад. Форма внутреннего монолога в публицистических статьях писателя приближает их к исповедальной традиции. Аналитические наблюдения позволяют ввести толстовские статьи военных лет в контекст исследовательских размышлений о духовной традиции исповедального слова.

**Ключевые слова:** публицистика периода Великой Отечественной войне, А.Н. Толстой, сакральный хронотоп, категория пространства, христианство, неоязычество.

**THE PROBLEM OF THE SACRED SPACE  
IN THE A.N. TOLSTOY'S JOURNALISM**

**Schelokova L.I.**

The article analyses A.N. Tolstoy's journalism in the context of confessional poetics. The article introduces the notions, "sacral chronotope", "sacral topos", confessional motives. The spatial-temporal correlations in Tolstoy's essays closely connect to the levels Space – Earth – Hell. The form of an inner monologue in the articles makes them closer to the confessional tradition. The analytical observations allow us to introduce Tolstoy's articles of wartime in the context of research considerations of the spiritual tradition of a confessional word.

**Keywords:** journalism of the Great Patriotic War, A.N. Tolstoy, sacral chronotope, the category of space, Christianity, neo-paganism.

Понятие «исповедальная проза» в русской литературе XX века тесно связано с появлением произведений В. Аксёнова, Ю. Кузнецова, А. Гладилина, А. Битова, исповедь поколения оттепели явилась художественным открытием эпохи 1960-х годов. Однако нельзя сказать, что изучение поэтики литературной исповеди в русской прозе XX века было продолжено, – за редким исключением. В исповедальном слове сегодня определены такие черты: психологический автобиографизм; «осознание исповедующимся собственного духовного несовершенства, искренность его перед Богом, изложение обстоятельств, сопутствовавших нарушению христианских заповедей» [11, с. 4]. Иные исследователи склонны находить точки пересечения автобиографического и исповедального слова [14, с. 57]. Полагаем это справедливым, так как ситуация исповеди предполагает *открытие* себя, готовность к Преображению. Значительное теоретическое осмысление исповеди получила в трудах о творчестве Ф.М. Достоевского. По мнению С.И. Креницына, например, ключевое значение исповеди для писателя заключается в возможности раскрыть перед читателем внутренний мир героя, не нарушая художественного правдоподобия. Он дает ей следующее толкование: «произведение, написанное от первого лица и наделенное дополнительно хотя бы одной или несколькими из следующих черт: 1) в сюжете встречается много автобиографических мотивов, взятых из жизни самого писателя; 2) рассказчик часто представляет себя и свои поступки в негативном свете; 3) рассказчик подробно описывает свои мысли и чувства, занимаясь саморефлексией» [8, с.100].

Момент покаяния в исповеди отмечает М.С. Уваров: «текст исповеди возникает только тогда, когда необходимость покаяния перед Богом выливается в покаяние перед самим собой» [14, с. 24].

Можно указать и на традицию в современном понимании исповеди, в частности, К.Г. Исупов обратил внимание на своеобразие публицистических статей А.И. Герцена. По мнению исследователя, писатель умел вводить интимное слово *исповеди* в *проповедь* («в голосовое представительство народной совести»), соединять его с обличающей *отповедью*, чтобы напомнить

о наследуемых национальным самосознанием *заповедях* (выделено – Л.Щ.) [7, с. 8].

Советская публицистика 1941-1945 годов в аспекте исповедальности еще не осмысливалась, в данной статье он обозначен впервые. Великая Отечественная война усилила высокую значимость сакрального слова. Прочтение статей и очерков прозаиков в контексте духовной традиции позволяет проявить глубинную аксиологическую систему, заложенную в художественном слове писателей, долгое время осмысляемом в идеологическом ключе. Современное литературоведение активно разрабатывает проблему изучения русской литературы в свете духовности [4; 5], однако данный подход к прозе о Великой Отечественной войне еще не осуществлен.

Опасность *распада* и *разрушения* народа и страны заставила советских писателей обратиться к «внутренней энергии исповеди», которая «заново собирает человека быта и человека искусства (а также героя текста) в том неотменяемом топосе жизненного мира, в котором они призваны к взаимно-творческому богочеловеческому со-деланию» [7, с.8]. Внутренняя энергия обращений прозаиков к человеку, ставшему защитником Отечества, внушала неотменяемость вневременного, вечного *топоса жизни* и утверждала его право пребывать в нем. Ясно осознавал это А.Н. Толстой: «Воюющий народ требует от своей литературы больших слов. И советская литература в дни войны становится истинно народным искусством, голосом героической души народа», – писал он 5 декабря 1942 года в статье «О литературе и войне» [13, с. 347]. Он хотел стать «голосом народа», к осуществлению данной задачи приступил с самого начала войны.

Наш анализ основан на статьях, появившихся в первые дни и месяцы войны, хронологический порядок их рассмотрения считаем важным для демонстрации постепенного проявления в них *сакрального хронотопа*. Считаем, что это понятие наиболее точно определяет исторически освященное и географически закрепленное (внутреннее и внешнее) пространство родины в

публицистике литераторов периода Великой Отечественной войны. Понятие «сакральный хронотоп», на наш взгляд, генетически тяготеет к понятию «концептуальный хронотоп», используемый в современной науке [3, с. 117-136]. В.Н. Захаров использовал понятие «православно-христианский художественный хронотоп» [6, с. 9]. М.М. Бахтин подчеркивал аксиологическую сущность хронотопа, используя термин *ценностный топос* [2, с. 509], поэтому в науке утвердилось онтологическое осмысление времени-пространства.

Приоритетное место среди *сакральных ценностей* Толстой отводит родине и ее неделимому исторически освященному пространству, в связи с чем, актуализируется сакральный хронотоп.

Статью «Что мы защищаем» (27 июня 1941, первая редакция) можно считать экспозиционной ко всему публицистическому циклу [считаем целесообразным трактовать статьи писателя, посвященные Великой Отечественной войне, как единый цикл: в них присутствует единство тем, образов, мотивов, стилевых доминант и др.]. Её программный характер обусловлен противопоставлением мировоззрения врага и русского народа. Автор видит в них духовно антагонистические начала: одна сторона защищает культуру родины и всего мира, в том числе немецкую, а другая – принципиально антикультурна: «<...> Подобно Господу Богу, в шесть дней, в день седьмой нации, как белокурая, длинноголовая раса-прима, начинают красиво жить – вволю есть сосиски, ударяться пивными кружками и орать застольные песни о своем сверхчеловеческом происхождении...» [13, с.80].

Соотнесение сакрального пространства родины с гитлеровскими претензиями на миссию нового бога отменяет возможность духовного преображения мира. Здесь проговаривается идея последнего дня, так как вместо бытия, данного Богом, устанавливается *новый порядок*, провозглашаемый очередным претендентом на мировое владычество. Толстой моделирует ситуацию последнего дня, приближая ее к апокалипсической и усиливая ее вневременную суть. На это указывает метафора «стальной стены»,

защищающая границы родной страны. Сталь символизирует духовный щит и карающий меч, обеспеченные героическим прошлым страны. Кровь врага «широко брызнула» [13, с. 80], ударившись о стальной щит народа, который «много раз за свою тысячелетнюю историю мечом и штыком изгонял с просторов родной земли наезжавших на нее хазар, половцев и печенегов, татарские орды и тевтонских рыцарей, поляков, шведов, французов Наполеона и немцев Вильгельма... "Все промелькнули перед нами"» [13, с. 81]. Многостороннее движение вражеских набегов очерчивает внешние границы *ценностного топоса* [2, с. 509], в центре которого русский народ. Его усилиями сохранена в течение многих веков родная земля, увиденная панорамным взором сверху: «<...> и распашет он <народ> ее под золотую ниву от океана до океана» [13, с. 81].

Другой масштаб ратного пути, пройденного народом, означен размышлениями о частном человеке, чем учреждается нерушимая вневременная связь между предками и современниками. Резко меняется тональность повествования, переключая внимание на *заповедные ценности* характера русского человека. «В русском человеке есть черта: в трудные минуты жизни, в тяжелые годы легко отрешаться от всего привычного, чем жил изо дня в день» [13, с. 81]. Меняется синтаксис, приближаясь к разговорному стилю, в лексике: возникают старославянизмы: «годинины», «отрешаться». Узнаваемые высокие слова, знаменитые словесные формулы обретают доверительное, сокровенное звучание, пробуждая внутреннюю готовность к *Преображению*: «Был человек – так себе, потребовали от него быть героем – герой...» [13, с. 81]. По мнению писателя, герой как раз может «вырасти» из «забритого мальчишечки», который «гулял три дня – и плясал...» и вел себя отнюдь не «героически», а «подперев ладонью щеку, пел жалобные песни» [13, с. 81]. Подобная предопределенность в превращении обыкновенного молодого человека, почти ребенка, в героя ассоциативно вводит в читательское сознание тему сына Божьего.

Рассказ о подвиге танкистов, не сдавшихся в плен: «Три парня сошлись из разных деревень на службу, в Красную Армию» [13, с. 82], – ассоциируется с былинным временем, былинной *предопределенностью* героического подвига. В авторском изложении они выглядят не по-богатырски приземленно: «<...> три парня вышли из танка, у каждого оставался один патрон, подняли оружие к виску – и не сдались в плен» [13, с. 82]. В этой фразе значима разговорная инверсия, допустимая в устной *бытовой* беседе, сокровенно-доверительная интонация усиливает эмоциональное переживание частного военного эпизода как подвига, завещанного предками. Оно дополняется ораторским прославлением героев: «Слава им, гордым бойцам, берегущим честь родины и армии!» [13, с. 82].

Устойчивая историческая вертикаль *единого времени* воинских подвигов воссоздана в *живом рассказе* летчика-истребителя, голос которого обытовлен и тем самым соотнесен с коллективной интонационной сферой: «Только бы, думаю, в глазах не начало темнеть от потери крови! Все-таки задернуло мне глаза пленкой, но я уже сидел на аэродром, без шасси, на пузо» [13, с. 82]. Интимно-сокровенными предстают и собственные воспоминания писателя: «Вглядываюсь в прошлое, и в памяти встают умные, чистые, неторопливые люди, берегущие свое достоинство» [13, с. 82-83]. Вдруг возникают в памяти эпизоды Первой мировой войны, когда «сибирские корпуса прямо из вагонов кидались в штыковой бой, и не было в ту войну ничего страшнее русских штыковых атак» [13, с. 83]. Вспоминается силач Александр Сизов из рода силачей Сизовых. В его внуке автор прозревает бесстрашного защитника родины. Звучат невеселые сказки полуслеплого нищего старика.

Отрывочные частные воспоминания вписываются постепенно в картину победы жизни над смертью, которая, наконец, разворачивается в панорамном обозрении победившей страны: «Прошло двадцать пять лет. От океана до океана зашумели золотом колхозные нивы, зацвели сады, и запушился хлопок там, где недавно веял мертвый песок» [13, с. 83]. Впервые появляются в этой статье *библейские черты* родины (долгота и широта земли), указывая на статус

священного места. Его сакральный хронотоп включает вертикаль времен (прошлое / настоящее / будущее) и горизонталь пространств (от океана до океана). Писатель широко использует «принципы расширения и сужения пространства» [15, с. 9]: от умозрительного к воспринимаемому пространству малой родины и в обратной последовательности. Для Толстого характерно стремление к «далекому» времени, через которое он прозревает «близкое».

Потаенный смысл сакральному топосу родины придает авторское признание в любви, оно звучит не патетично, а сердечно, интимно: «Это – *моя* родина, *моя* родная земля, *мое* отечество, – и в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе...» (курсив – Л.Щ.) [13, с. 83]. Троекратное *мое* проявляет *заповедное и покаянное* чувство любви к родной земле пред высшими силами, способными увидеть все тайники души. Таким образом, объединяются патетическое и сокровенно-доверительное слово, исповедальное по сути.

В контексте сакрализации пространства Москва – *заповедный* центр мира, священный город. Она символизирует всю Россию, поэтому авторская мысль не зафиксирована строго на городе, а обращена к истории страны. В Москве в период военной угрозы временно совместились три уровня: Космос, Земля и Ад. Каждый из уровней связан с определенным временным этапом: будущее, настоящее и переход в условно мифологическое время при возможной гибели священного города. Выстроенная вертикаль корнями уходит в героическое прошлое. Спасение Отечества и защита священного города – насущная задача современности образует связь между прошлым и будущим, поэтому так важно проверить нравственную состоятельность современника через его отношение к священному центру. Особенно остро это прозвучало в статье «Нас не одолеешь!» (20 сентября 1941). В первой строке статьи сформулирована задача единения фронта и тыла: «Каждый воин Красной Армии в кровопролитных боях, среди тысячи смертей, хочет знать, как в эти дни живет его родной край, как живут и что делают его близкие» [13, с. 142]. Мысль писателя устремлена к духу тыла, к его «живой картине» [13, с. 142], олицетворяющей *Абсолютные*

*ценности* «обильной и широкой нашей родины» [13, с. 142], которая «должна стать необозримым счастьем для молодости, светлым покоем для старости» [13, с. 142]. Перед взором читателя воздвигается абсолютное (аксиологическое) пространство, в системе координат которого человек осмысляет себя перед Богом.

Ему противопоставлен полюс демонического врага: «Гитлер спустил с цепей всех двуногих чудовищ на тотальную войну против нас» [13, с. 142]. Отповедь врагу развернута в образно-тематическом гибельном пространстве. Враги «идут умирать в наши болота, леса и степные овраги» [13, с. 143]. От территориального и духовного низменного / низового уровня взгляд устремляется к высокому и крутому берегу Волги: «С обрыва широко видно Заволжье – заливные луга, где длинные предвечерние тени легли от бесчисленных стогов. <...> Огромный простор, озаренный мягким светом» [13, с. 143-144]. Достигнутая *высота созерцания* позволяет увидеть на высоком пьедестале человека, впитавшего «здесь в душу свою эту ширь, эту силу земли, эту необъятность, и прелесть, и волю». Валерий Чкалов «стоит лицом к длинной площади, голубой после дождя, где на мокром асфальте в лужах отражается небо и летучие облака» [13, с. 143]. Герой породнен с небом: «Он сам – будто оттуда, из этого простора – спустился и стал всем застывшим движением воли и силы, ястребиным лицом своим обращаясь к родному городу, краю, отечеству: – за мной, ввысь, в бой!» [13, с. 143].

Памятник летчику – аналог *священной Горы*, поддерживающей *историческую* связь времен: «Направо от него – древний белый кремль с приземистыми башнями» [13, с. 143]. Топонимические координаты напоминают о давней победе над врагами: «Отсюда в самую тяжелую из годин поднялся народ на оборону государства <...> отсюда, с обрыва, посадский человек Козьма Минин указал народу путь к сердцу русской земли, и надменный враг, засевший в московском Кремле, был побит и рассеян, как пепел» [13, с. 143]. Священное историческое прошлое навсегда запечатлелось в пейзаже с *высокой точкой обзора*: «С обрыва широко видно Заволжье –



заливные луга, где длинные предвечерние тени легли от бесчисленных стогов. Огромный простор» <...> озарен «мягким светом» [13, с.143-144]. Поэтому здесь у людей – красивые лица, веселые, смелые, дерзкие глаза и широкие плечи» [13, с. 144]. Автор создает галерею графических портретов-эскизов рабочих Горьковского завода – *частных людей*, участников всеобщей истории.

Трудовой тыл военного времени тоже соотнесен с деяниями предков. Писатель говорит о трудовых династиях завода, сильных своей традицией – «тремя поколениями рабочих в заводских цехах, передачей опыта от дедов к внукам и ревностью к своему заводу» [13, с.145]. Деды и прадеды всегда выступали мерилom добродетелей и славы внуков и правнуков. Размышления о трудовых подвигах тыла постепенно обретают стилистику и интонацию проповеди. Концовка в статье отдана *заповедно-каноническому утверждению* старого рабочего: «Нас не одолеешь!...» [13, с. 150]. Его афористичная традиционная форма точно выражает центральную идею военного времени, сакральный смысл которой подтвержден существованием русского народа на своей земле.

Решительной формулой-наставлением отмечена и статья «Москве угрожает враг» (16 октября 1941): «Ни шагу дальше! Пусть трус и малодушный, для кого своя жизнь дороже родины, дороже сердца родины – нашей Москвы, – гибнет без славы, ему нет и не будет места на нашей земле» [13, с. 150]. Категоричность начальной фразы статьи обусловлена потенциальным *изгнанием недостойного* со священной земли. В контексте пространственно-временной структуры всего публицистического цикла священный центр суживается до крайнего предела. Движение по горизонтали ограничено, почти невозможно, а временная координата усилена: «Встанем стеной против смертельного врага», который «голоден и жаден. *Шесть столетий* он с завистью глядит на наши необъятные просторы» (курсив – Л.Щ.) [13, с. 150].

Автор вновь возвращается к мифологическому времени гуннов, проявляя символику сакральных чисел [12]. Значимое число *шесть* вновь возвращает нас

к истории сотворения мира. Посягательству врага на священную землю можно противопоставить только превосходство внутренней силы духа народа. «Враг нас теснит. Над Москвой нависла угроза. <...> Наша задача в том, чтобы остановить гитлеровские армии перед Москвой» [13, с. 151]. В настойчивом повторении мысли о необходимости остановить наступление врага видна декларативность заявлений о нарастании *наших сил*, но она помогает писателю поддержать рядового гражданина, переживающего голод в блокадном Ленинграде и заверить, что у него «...настроение бодрое, работаем <...>. Верим в скорую победу, а значит, в скорое счастье...» [13, с. 151]. Уверенность подкреплена стойкостью жителей Одессы и Ленинграда, они с честью выдерживают испытание, выполняя «свой долг перед родиной <...>. Жребий славы и величия духа выпал теперь на Москву» [13, с. 151-152]. И энергичный призыв к сопротивлению, и твёрдая вера в его победный результат неожиданно сменяются авторским *покаянным* признанием от имени народа в ошибках, в несовершенстве, духовно ослабляющих всех: «Мы, русские, часто были благодущны и беспечны. <...> Не во всю силу понимали размер грозной опасности, надвигающейся на нас» [13, с. 152]. Сожаление и раскаяние необходимы для концентрации сил, «<...> чтобы русское солнце ясно светило над русской землей...» [13, с. 152].

Чёрная вражья тень, накрывшая сакральное пространство родины, заставляет каждого, убеждён писатель, заново пережить глубокое чувство родины, ответственности за её свободу, готовности пожертвовать собой для спасения её священной земли, сбережения её исторической памяти, олицетворённой Петром Первым, «указавшим России просторы беспредельного мира», и Пушкиным, духовно обогатившим великороссов. Воображаемая *ситуация последнего дня*, когда «Пушкин полетит в костер под циническую ругань <...>» [13, с. 152], подготавливает лозунговую категоричность требования и призыва: «Красный воин должен одержать победу. Страшнее смерти позор и неволя. <...> Ни шагу назад!..» [13, с. 153]. Но заканчивается статья не мужским воинским приказом умереть, но не сдаваться, а

своеобразным речитативом, в котором наглядны, узнаваемы слова и интонации *заповедного плача* [термин принадлежит А.А. Газизовой] о сражающейся русской земле: «Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся – в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны» (курсив – Л.Щ.) [13, с. 153]. Многократно повторенное личное местоимение вводит высокую идею защиты отечества в сознание каждого человека.

Интонационное и смысловое завершение центральной идее придает прославление защитников родины в финальной строке статьи: «Бессмертная слава погибшим за родину. Бессмертную славу завоюют себе живущие» (курсив – Л.Щ.) [13, с. 153]. Отсылка к древнему жанру *Славы* уравнивает героические деяния предков и ныне живущих, формируя сакральный хронотоп.

Аналитические наблюдения показали, что сакральный хронотоп позволяет ввести толстовские статьи военных лет в контекст исследовательских размышлений о русской духовной традиции исповедального слова. Толстой может быть рассмотрен как художник, использующий христианские концепты (покаяния, бессмертия, верность долгу, самопожертвование), оставаясь в рамках мифологизированной картины мира. Как отмечал один из исследователей: «при наличии внешней христианской атрибутики (иконы, теонимы, некоторые элементы классической обрядности), мы видим сугубо языческое мировоззрение, когда вместо Бога начинается поклонение творению» [9], такие же тенденции мы наблюдаем и при анализа феномена сакрального пространства в публицистике А.Н. Толстого, когда от традиционного православия остается только атрибутика, элементы культа, которые переплавляются в новой неязыческой парадигме, сакральным объектом тут становится не царствующий Христос [10], а коммунистическая родина. Новое культуртрегерское язычество вполне отвечало политике СССР тех лет, когда

мейнстримом стало уже не явное, а скрытое, но более эффективное, разрушение христоцентризма в сознании советских граждан.

### **Список литературы:**

1. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000.
2. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / Сост. С. Бочаров и В. Кожин. М., 1986.
3. Головкин В.М. Историческая поэтика русской классической повести. М., 2010.
4. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
5. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004.
6. Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сборник научных трудов. Петрозаводск, 1994.
7. Исупов К.Г. Исповедь: к определению жанра. // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова: Материалы междунар. конференции. Санкт-Петербург, 26-27 мая 1997 г. / Артемьева Т.В., Исупов К.Г., Тафинцев А.И. и др.; отв. ред. М.С. Уваров. СПб.: С.-Петербургское отделение Ин-та человека РАН, 1997.
8. Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. Достоевского. М., 2001.
9. Никольский Е.В. Ересь царбожия как «реинкарнация» культа деизированных правителей Древнего мира [Электронный ресурс] // *Studia Humanitatis*. 2014. № 3. URL: <http://st-hum.ru/node/168> (дата обращения: 12.11.2014).
10. Никольский Е.В. Царственность Христа как проявление Его Божественности [Электронный ресурс] // *Studia Humanitatis*. 2013. № 2. URL: <http://st-hum.ru/node/72> (дата обращения: 12.11.2014).

11. Патрикеев С.И. Исповедь в поэтике русской прозы первой половины XX века (проблемы жанровой эволюции): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Коломна, 1999.
12. Теория Традиции: христианство и русская словесность. Коллективная монография / Науч. Ред., сост., предисл. Г.В. Мосалева. Ижевск, 2009.
13. Толстой А.Н. Полное собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 14. М., 1950.
14. Уваров М.С. Архитектоника исповедального слова. Научное издание. СПб., 1998.
15. Чернухина И.Я. Основы контрастивной поэтики. Воронеж, 1990.

**Сведения об авторе:**

Щелокова Лариса Ивановна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета (Москва, Россия).

**Data about the author:**

Schelokova Larisa Ivanovna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of Russian Literature Department, Moscow City Teacher Training University (Moscow, Russia).

**E-mail:** Lariva2007@yandex.ru.